

Ефим Гаммер

## Калейдоскоп жизни

### Коренная одесситка

(Год 1969)

По фантазиям моего папы, порожденным пьянящим воздухом Молдаванки, мне в жены годилась лишь пенная Афродита, молодецких, разумеется, кровей, склонности к деторождению и крепкой нервной системы. Та самая дева, с детства купающая свое сильное, с развитой женской грудью тело в волнах Черного моря, в запредельной от меня, «котика» Рижского залива, стороне. По его прогнозам, именно в районе обитания памятника Ришелье на стремительных крыльях случайной встречи должен был у меня развернуться первый акт внезапной любви с «коренной одесситкой». «Коренная!» – такое «лошадиное» слово в соседстве с «одесситкой» тешило его представления о супружеском счастье, когда он, близоручко шурясь, просматривал на горизонте из глубины шестидесятых мое семейное гнездышко.

«При виде твоего появления на Ланжероне, в Лузановке и в Аркадии этот богатый плод твоего воображения достойно выйдет на пляжный песочек навстречу твоим насущным потребностям и распростертым под их влиянием объятиям».

На самом деле «богатый плод моего воображения» явился мне впервые еще до наступления купального сезона. Во второй половине мая шестьдесят девятого. Не на пляже и не в бикини. А гораздо романтичнее и неожиданней, хотя и в полном комплекте одежды. На трамвайной скамеечке в дребезжащем вагоне пятого номера, когда я возвращался из Оперного театра в Аркадию,

на турбазу, где расселили нашу группу прибалтов, совершающих вояж по Украине и Молдавии.

«Богатый плод моего воображения» и не догадывался, что на осмотр и ознакомление с городом трех поколений предков мне отводилось всего пару дней. Попробуй за этот спринтерский срок найди невесту, столкнись с ней, убеди в чистоте помыслов. За это время я мог – что мог, то мог! – изыскать всего лишь ЗАГС, ибо знал: он расположен на старом месте, все там же, подле театра, где в 1937-м расписывались мои родители. Что я еще мог успеть за это время? Ну, наверное, закомпостировать сердечко и ушки «коренной» одесситки песенкой-выручалочкой из папиного репертуара. Песенкой с намеком на серьезность моих намерений. Пригодной, правда, для исполнения не до, а после свадьбы, желательно «серебряной» либо «золотой».

В понедельник я влюбился.  
Вторник я страдал.  
В среду с нею объяснился.  
А в четверг ответа ждал.  
В пятницу пришло решение,  
А в субботу разрешение.  
В воскресенье свадьбу я сыграл.

Всем хороша была песенка. Только одно было плохо. У меня, в отличие от папы Арона, старшей сестры Сильвы и младшего брата Бори, с рождения наблюдалась напряженка по части музыкального слуха. Признаюсь, не Леонид Утесов, не Робертино Лоретти. Но и не беглый призрак Желтого дома, подколесная жертва трамвайных путей сообщения. И все же я скорее способен был напугать свою потенциальную невесту, чем увлечь ее в ЗАГС.

Не Афродита...

Что ей Апполон?..

Оставалось... Да, оставалось, плюнув на песенный жанр и неуместные заигрывания, обратиться к трамвайной публике за помощью.

Поначалу, признаюсь честь по чести, я предложил все же полюбившейся мне девушке, сидящей подо мной на скамеечке,

выйти без долгих размышлений замуж, за меня, понятное дело, молодого, умытого, с образованием и деньгами в кармане. Завтра, пояснил я, завершается мой променад по матушке Одессе, где имели место родиться мои папы-мамы, дедушки-бабушки. Здесь и для меня имелось место родиться, улица Средняя, 35. Но Гитлер со своими безумными действиями насчет мирового господства покусился на Одессу и помешал мне вдохнуть капельку живительного воздуха у Самого Синего моря. Впрочем, назло ему я таки вздохнул и родился, но с опозданием... из-за военных трудностей... на четыре года... ровно к его похоронам... и вдали от намеченной по семейной разнарядке родины – на Урале. Но в истинную пору весеннего куража для всего живого, когда Фонтан черемухой покрылся, бульвар Французский, по которому мы сейчас проезжаем на маленькой скорости, был в цвету. И вот именно сейчас, когда Французский бульвар обратно весь в цвету, я предлагаю под воздействием момента ей, Прекрасной Елене родины моих предков, руку и сердце первой свежести. Завтра утром, по моим далеко идущим планам, мы встречаемся с ней у Оперного театра и вместе идем не за контрамаркой, а в ЗАГС – он в двух шагах от театра, как я осведомлен по ориентировке родителей. Делаем запись в регистрационной книге и в качестве жениха и невесты садимся на лайнер ТУ-104, чтобы воздушным путем сообщения и на крыльях любви приступить к свадебному путешествию до Риги, на представление к папе и маме и получение приличных по стоимости подарков от многочисленных членов моей плодovitой «мишпухи». Время не терпит, торопил я нареченную, завтра вечером возвратный для всей группы прибалтов самолет, билеты куплены и распределены по заглашникам. Но в отношении ее, мисс Понт Эвксинский – древнегреческое название Черного моря, – никаких проблем. Билет для нее загодя заготовлен, на случай лотерейного счастья. Ну а нет, так, к сожалению, нет. «На выход без вещей», и я утекаю один, как сирота Моисей от заегипетского Сфинкса, привлекательного наружностью только до первых залпов наполеоновской артиллерии. Туда-туда утекаю, где за тучей белеет гора. В Ригу. К моим дедушкам-бабушкам, погребенным по исторической несправедливости, исключая вечно живую бабушку Иду с улицы Средней, на Рижском еврей-

ском кладбище, а не на Старом еврейском в Одессе, возле родителей. Все они, направляя меня на променады в альма-матер, дабы рвать подметки на Дерибасовской, завещали мне заодно там уже один раз жениться. И что? Что я им доложу по возвращении на кладбище? Два дня на раздумья и поиски, доложу, – это для «жемчужины у моря» с миллионным поголовьем населения – малый по отпущенным возможностям срок. А они мне, они мне скажут: не там искал, байстрюк... мы и на том свете не поверим, что Одесса уже обнищала духом на первых красавиц земли украинской... русской... и в первую очередь, еврейской... Ведь пока еще, если глаза наши не врут, на дворе шестьдесят девятый год, и до повального бегства в Бруклин, на Брайтон-Бич с деревянной мостовой у самого синего океана им ждать три с лишним года...

Благосклонно выслушав мое брачное предложение, девушка с достойным ее чести любопытством подняла на меня космической наполненности очи, хоть хватай ее сразу и веди без промедления под венец. Однако сбоку стоящая женщина, в мясе и кости, с налетом золотых зубов в нержавеющей рту, по-видимому, теплохранительница, если не мама ее и теща в перспективе, среагировала на меня с недоверием. Вспомнив о моих достопримечательностях, духовных и материальных, она с подначкой спросила:

– А где деньги, что мы имеем сегодня на расход в кармане?

И вызвала оживленный всплеск вопросов у трамвайной публички, которой и впрямь было интересно: где на самом деле хранятся бабки у приезжих на вотчину Соньки Золотой Ручки лохов с янтарных берегов? В кармане? Хорошо... Тогда в каком? Правом? Левом? Брючном? Пиджачном?

Я продемонстрировал деньги, несмотря на то, что личное местоимение множественного лица – «мы» – показалось мне некорректным для употребления вслух.

– На такие гроши, – высокомерно заявила тетка-попутчица с акцентом на золотые, а не железные зубы во рту, – и щуплый биндюжник с Привоза не запряжет свадебную карету.

На дворе действительно стоял шестьдесят девятый год. А на четвертной – сиреневой двадцатипятке, – представленной мной к обозрению, все еще красовался не американский президент, а кремлевский, согласно Уэллсу, мечтатель.

Этот мечтатель и помог мне, против собственной воли, конечно, сформулировать убийственный для атакующей меня дамочки в маникюре ответ:

– Вот поэтому, зная ваши малопатриотические восклицания, гражданочка, о тягловых способностях неких ответственных лиц... – сформулировал я ответ и произнес его со значением, – Вознесенский и воззвал к партийной и прочей общественности: «Уберите Ленина с денег!».

Дамочка, может, и не слыхивала об Андрее Вознесенском, авторе крамольных «Антимиров», но о Вознесенском, крупном партийном боссе из Ленинграда периода культа, слыхивала. И боялась всяческих намеков – по извечной одесской привычке: а вдруг придут описывать имущество?

Трамвайная публика намеков не боялась – не ее имущество, в случае чего, придут описывать. И с настойчивостью разом оживших маразмов стала донимать мою визави вниманием и советами.

Всесторонняя оценка моих жениховских отличий могла ей польстить. По единодушному мнению обитателей пятого номера, она соответствовала запросам Староконного рынка.

«Этому жеребцу в рот палец не клади. А что касаясь кобылицы...»

«Кобылица не касается!» – рявкнул кто-то у меня под ухом.

«А вы кем ей приходиться, гражданин? – просквозил трамвайное помещение ехидный голос. – Вы ейный отец... по паспорту?»

Словом, публика выслушала и постановила: завтра в девять ноль-ноль, к открытию зоопарка... тьфу!.. ЗАГСа, жениху и невесте быть в парадной форме обмундирования у входных дверей в зал бракосочетаний. Жениху иметь при себе червонцы для уплаты таможенной пошлины за право вывоза золотого запаса Одессы в Ригу. А золотому запасу Одессы, с пробой высшего качества на памятном месте, – все необходимые доказательства не утраченной женской чести, включая девственность, если она была в наличии.

Излишне говорить, назавтра в указанный срок я никаких доказательств не дождался. Ни с девственностью, ни без оной.

У Оперного театра шел сильный дождь, смывая с мостовой мои слезы. Я ждал и ждал. Не пятнадцать минут, как принято у нас в Риге, а битый час. Но свидание не состоялось. Прогноз погоды, очевидно, не выпустил мою невесту из дому в свадебное путешествие. ЗАГС закрылся на завтрак, потом, через малый промежуток времени, на обед, вывесив на обозрение голодных до любви прохожих и подобных мне женихов с авоськой (для шампанского) песенное объявление:

Ах, Одесса, не город, а невеста!  
Ах, Одесса, нет в мире лучше места!  
Ах, Одесса, любимый южный край,  
Цвети, моя Одесса,  
Цвети и расцветай!

На такое песенное объявление я наложил, естественно, столь же песенную резолюцию, папы моего Арона производства. В конце тридцатых он дефилировал с ней и баяном по аллеям парка Шевченко, отрабатывая концертный номер Госэстрады. Сегодня это раритет. Итак... в том же поэтическом русле, что «цвети и расцветай». Послушайте и не хватайтесь за сердце – «Сделано в Одессе»!

Братья по классу и крови,  
Будьте живы и здоровы.  
Мы Польшу панскую разбили,  
Вам свободу подарили.  
Пользуйтесь ею вовеки.  
Жизнь ваша раньше не имела вида:  
Горечь, нужда и обида...

Продолжение? Продолжение папа напел мне уже в Риге, когда я, разочаровав его, признался в полном фиаско. И выглядело оно так, чтобы мечту об одесской наперснице «с развитой женской грудью, купающей свое сильное тело в волнах Черного моря», я ни в коем случае не положил в долгий ящик.

Впрочем, на то оно и продолжение...  
Его можно оставить на потом...

## Из Ливана с оказией

(Год 1982)

Осколок снаряда от Эр-Пи-Джи, советского производства, торчит в железном боку автобуса. Он прошел слева направо – через оконное стекло – в спину. И вышел из груди, чтобы облить кровью его автомат, лежащий на коленях.

Моисей впал в кому, не успев подумать о смерти. Не успев даже в мыслях передать привет матери, жене, дочке. Впал в кому и, отвергнув боли и тяжбы минувшей жизни, парил над Добром и Злом – теми понятиями, которыми из века в век кормится человечество. Пока в разрыве времен не приступает к пожиранию единоутробных братьев.

Моисей умер...

Его автомат М-16 покоился на кожаном сидении автобуса – так и не высадив в отместку ни одной пули.

Группа иностранных корреспондентов – эти Хоу, Дитрихи, Смиты, коих он вынужден был сопровождать от Цора до Бейрута, услышав скрежет железа, отвели глаза от запредельной синевы ливанского неба и теперь с ужасом смотрели на него, военного корреспондента радио «Голос Израиля».

Его мама Рива, лежащая на операционном столе в ашкелонской городской больнице, осознала смерть сына шестым чувством и не позволила себе мирно скончаться под ножом хирурга.

Кому как не ей хоронить Моисея на военном кладбище?

Из тысячи болей выбирают одну.

Кровь не стынет в поджилках, когда ноет сердце.

Кого убивают первым, если приспело время войны?

Первым убивают Ее сына.

Ривин сын Моисей, сын Моисея и внук Моисея, нареченного в честь Моисея, выведшего евреев из египетского плена, погиб от шального осколка на выезде из Бейрута, так и не успев поспеть в Ашкелон к началу операции.

Рива, мать Моисея и дочь Моисея, нареченного в честь Моисея, выведшего евреев из египетского плена, из тысячи болей выбрала одну – смерть сына.

Его смерть она ощутила внезапно, на операционном столе, за мгновение до того, как уснула под наркозом.

Рива очнулась в палате от приступов тошноты. Тело ее содрогалось в спазмах. Старая женщина чувствовала ноющие покальвания в груди, терзаемой куском стали, поразившей ее сына.

Хаим, племянник Ривы, обретший это имя, означающее на иврите *жизнь*, в честь дарованной ему жизни в гетто, чуть ли не силком тащил к ее кровати дежурную медсестру. А та негодуя дергала острыми, как вешалка, плечами и отбивалась скороговоркой:

– Все с ней будет хорошо! А рвота... Без рвоты не отойдешь от наркоза.

– Сделайте что-нибудь! – кричал, не слыша девушки, Хаим.

И дежурная медсестра сделала «что-то», лишь бы «что-нибудь» сделать: сменила на Риве белье.

– Хватит орать! – сказала она Хаиму, сделав «что-то». И вышла в коридор – плечики вразлет, и покачивается, будто худоба-манекенщица от сквозняка.

– Ей плохо! – вдогонку плечикам крикнул Хаим.

– А кому хорошо? – отозвалось из глубины коридора.

Рива булькала горлом, подбирая руки к груди.

– Оставь эту девчонку, Хаим. Она права: кому сейчас хорошо? Идет война, а она... они бастуют. Объявили голодовку на нашу голову. Это надо же, бастуют...

– Но ведь она... Она дежурная!

– Помолчи, Хаим. Мой язык к смерти прилип. Трудно говорить. Закажи памятник.

– Рива, что с тобой? Да ты!.. Тебе до ста двадцати, и без всякой ржавчины!

– Памятник, Хаим! И беги в родильное отделение. Я чувствую... Хая... Я чувствую... там... с внуком моим... с Моисейчиком... плохо. Не разродится она.

– Рива, да что с тобой впрямь? Каким Моисейчиком? Мы же договорились! Если мальчик, назовем его Давидиком, по моему деду.

– Я знаю, что говорю, Хаим. Беги! Мне... мне...



Рива прикрыла ладонью рот. Но поздно. Ее вновь затрясло. Она выгнулась, так и не отвернувшись от племянника. Хаим выскочил из палаты, пугливым взором отметив, как сквозь ее пепельные пальцы бьют желтые струйки.

«Боже!» – прошептал в коридоре. Выхватил из брючного кармана, не вытаскивая пачки, сигарету. Попросил огонька у проходящего мимо солдата с «Узи» на плече.

– Откуда?

– Из Ливана.

Прикурив, спросил:

– А что у тебя?

– Сын! Сын у меня!

– Так скоро?

– Что? – не понял солдат.

– Да, нет! Я просто так...

Моисей был счастливый отец...

У него была дочка, шести лет. А сейчас появился и сын.

В этот раз он очень хотел сына – с той же силой хотения, как в прошлый раз, когда очень хотел дочку.

Дочку назвали Басей, по имени сестры его матери, убитой гитлеровцами в концлагере. А сейчас ему нужен был сын, чтобы назвать его Давидом, по имени деда, растерзанного заживо немецкими овчарками после неудачного побега к партизанам.

Но он уже знал: имя малышу теперь – Моисей, в честь него. Все согласно еврейской традиции.

Моисею не терпелось перенестись к своему младенцу, пускающему изо рта первые пузыри жизни. Но догадывался: за ним присматривает Хая... Язык не поворачивается произнести слово – «вдова».

Чего их беспокоить?

И он перенесся, раз выпала такая оказия, в Кирьят-Гат – за десять километров от Ашкелона. К милашке – дочушке Басеньке, за которой обязалась присматривать соседка Алия Израилевна.

Алия Израилевна смотрела телевизор и громко цокала языком, сопереживая происходящему.

На черно-белом экране просторного, как холодильник, ящика демонстрировали врачей ашкелонской городской больницы,

учинивших забастовочные санкции с последующей голодовкой медицинского персонала.

Басеньке пора спать. Но она предпочитала другое занятие. В ванне под теплым душем отмывала от серой пыли походный «Репортер» Моисея, который обычно висел на его плече, когда он отправлялся в командировку.

Изнемогая, «маг» вел голосом ее папы какой-то путевой репортаж. Басенька, в ожидании своих слов, записанных некогда на пленку, била по клавишам, будто она за роялем.

Наконец дождалась.

– Я слон! Я слон! – раздалось из магнитофона.

Басенька радостно захохотала.

В коридоре, отгороженном ширмами от больных, тихо бастовали врачи. Они сгрудились у телевизора, слушали последние, касающиеся их голодовки известия и умиротворенно вздыхали.

Коридор, отгороженный ширмами, связывал хирургическое отделение с родильным.

Хаим рванул было по нему, хотя и опасался: остановят!

Нет, его не остановили. И не потому, что в эти минуты стрекотали камеры телевизионщиков. Его не остановили потому, что белые халаты делали вид, будто ничего экстраординарного в лечебном заведении не происходит. Они видели лишь телевизор, а в нем себя – голодающих перед телеоператорами из разных стран мира. И старались не замечать Хаю, дорвавшуюся почти до самого телевизора с ребенком на руках, но так и не втиснувшуюся в кадр.

– Доктор! Доктор! – шептала она, протягивая ребенка врачу. – Смотрите! С ним все в порядке? Он не подает голоса!

– Минутку! – сказал врач. – Потерпите немного. С ним все будет в порядке. А у нас санкции.

Он повернулся на стуле, уставился в экран зазывного ящика, в лицо своего коллеги, профсоюзного беса, бесстрастно излагающего требования забастовочного комитета.

– Доктор! – вспыхнула Хая.

– Потерпите немного. Голос у него прорежется, – бесстрастно ответил врач.

Автомат Моисея лежал на коленях под его безвольными руками.

В далеком Бейруте.

Его тело, поникнув, подрагивало на мягком автобусном сидении.

В далеком Бейруте.

Но дух его метался по Ашкелонской больнице, от Хаи к врачу, от врача к маме Риве, от мамы Ривы к двоюродному брату Хаиму.

Хая бросилась к телефону-автомату.

Моисей подставил руки. Но так и не смог принять даже на мгновение младенца, чтобы ей было легче набирать на ускользающем от пальца диске заветные цифры. Его сына принял на руки Хаим.

– Алло! Алло! – скороговоркой произносила Хая. – Скорая помощь? Скорая, скорей, сюда! Адрес? Ах, да – адрес! Записывайте! Ашкелонская городская больница! Родильное отделение!

И тут младенец, будто отказываясь от медицинской помощи, самостоятельно подал голос. Пронзительный и сильный – голос человека, вернувшегося к жизни. Почему «вернувшегося к жизни»? Потому что Моисею показалось, что это был его голос...

– Живи, малыш! – сказал он тихо, зная, что его никто уже не услышит.

...В Израиле стояло жаркое лето, рекордное по количеству родившихся израильтян.

Жаркое лето достопамятного 1982 года – время затяжной войны в Ливане и бессрочной забастовки врачей.

Иерусалим

